Король, дама, валет

Автор:
Владимир Набоков

Король, дама, валет

Владимир Владимирович Набоков

Набоковский корпус

В своем втором, написанном в Берлине романе «Король, дама, валет» (1928) Владимир Набоков обращается к материалу из немецкой жизни и впервые принимается за глубокое исследование обывательской психологии, продолженное затем в «Камере обскура» и «Отчаянии». За криминальным сюжетом с любовным треугольником кроется мастерски раскрытое противостояние двух полярных образов жизни: трафаретного, бездушного, доведенного до автоматизма, и естественного, полнокровного, творческого. В условном мире реклам и модных журналов овеществляется как будто само сознание и естество молодой «дамы», главной героини книги, и наоборот, неожиданной поэзией наполняются быт и проекты ее мужа, богатого коммерсанта Драйера, – «короля» в той сложной игре, которую ведет с читателем Набоков.

Настоящее издание дополнено эпизодом из расширенной английской версии романа, впервые переведенным на русский язык.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Владимир Набоков

Король, дама, валет

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко и Дмитрия Черногаева

First published in 1928

Copyright © 1968, Dmitri Nabokov

All rights reserved

© А. Бабиков, редакторская заметка, примечания, перевод отрывка, 2021

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2021 © ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

От редактора

Замысел второго романа возник у Набокова летом 1927 г. в Бинце, курорте на острове Рюген в Померании. Зимой, в Берлине, он принялся за сочинение книги, которая продвигалась с большим трудом. В отличие от «Машеньки», во многом построенной на автобиографическом материале, «Король, дама, валет» – роман из немецкой жизни, без русских героев и реминисценций. Набоков создавал его, по его собственному позднему признанию, «в мечте о чистом вымысле», «независимо от всяких эмоциональных обязательств». 13 февраля 1928 г. он писал матери: «Я кончил вчера около двух часов ночи третью главу (всего 90 страниц уже!) и должен сказать, что доволен. То, что я пишу, гораздо сложнее и глубже “Машеньки”. Боюсь, что раньше лета не кончу». Пять дней спустя он сообщил ей новые подробности:

Продолжаю вести кротообразную жизнь, т. е. никого не вижу, кроме учеников, и корплю, корплю, до заворота мозгов, над моим романом. Четвертая глава почти кончена, – кончу ее, вероятно, сегодня. Мне так скучно без русских в романе, что

хотел было компенсировать себя вводом энтомолога, но вовремя, во чреве музы, убил его. Скука, конечно, неудачное слово: на самом деле я блаженствую в среде, которую создаю, но и устаю порядком. Пью много мальцбира, да еще Вера делает мне особое питье из яйца, какао, апельсинного сока и красного вина. Боюсь, что в романе будет многовато клубнички, но ничего не поделаешь: если описывать, как человек ходит, улыбается, ест, то приходится столь же подробно описывать, как он действует на кипридовом поприще.

Роман был дописан в июне 1938 г. и передан в берлинское издательство «Слово». К выходу книжного издания в берлинской газете «Руль» 23 сентября 1928 г. состоялась публикация отрывка из романа (часть главы IV), с примечанием, позволяющим установить дату выхода книги в свет: «Пользуясь любезным разрешением Кн-ва “Слово”, приводим отрывок из только что вышедшего в указанном из-ве романа В. Сирина: “Король, Дама, Валет”». В том же году Набоков продал права на немецкое издание, получив щедрый гонорар, который позволил ему с женой отправиться в Восточные Пиренеи ловить бабочек. Перевод (под названием «Король, дама, валет: игра с судьбой») подготовил писатель, переводчик Гоголя, Тургенева и Лескова Зигфрид фон Фегезак, с которым Набоков встречался в Париже в начале 1929 г.

«Король, дама, валет» обнаруживает все основные зачатки будущей изощренной игры Набокова с читательскими ожиданиями, продолженной затем в «Камере обскура» и «Отчаянии». Многому научившийся у Г. Флобера и И. Бунина, хорошо знающий современных западных писателей, Набоков к концу 20-х гг. становится в русской литературе одним из самых тонких мастеров формы, его стиль называют «сплошь блестящим, нигде не матовым» (Ю. Айхенвальд), «зорким» и «кинематографичным» (Г. Хохлов), «скользящим» и «подлинно искусным» (В. Ходасевич), «виртуозным», отмеченным «ослепительной, классической яркостью» (Г. Адамович).

В 1966 г. Дмитрий Набоков подготовил дословный английский перевод романа, предназначавшийся для американского издательства «McGraw-Hill». Перечитав русский оригинал, Набоков отложил сочинение «Ады» и внес в перевод множество уточнений, дополнений и исправлений, развил некоторые образы, диалоги и описания, переписал финал[1 - Одно из самых значительных дополнений (в начале гл. XII, где с эффектом стеганографии появляется иностранная чета) мы приводим в нашем переводе в приложении к настоящему изданию. (Здесь и далее – прим. ред.)]. В предисловии к американскому изданию романа, опубликованному в 1968 г., он заметил следующее:

Не хочу обсуждением сделанных мною небольших изменений портить удовольствие тем, кто в будущем пожелал бы сравнить оба текста. Позволю себе только заметить, что они были сделаны не для того, чтобы подрумянить труп, а скорее чтобы дать еще небездыханному телу воспользоваться некоторыми внутренними возможностями, в которых ему было прежде отказано вследствие неопытности и нетерпения, торопливости мысли и нерасторопности слова[2 - Перевод ГА. Барабтарло и Веры Набоковой.].

Первое издание 1928 г. переиздавалось репринтным способом в 1969 г. («McGraw-Hill») и в 1979 г. в «Ардисе». Печатается по изданию «Ардиса» по правилам современной орфографии и с исправлением замеченных опечаток[3 - Редактор благодарит Вадима Алексеевича Маневича (Нью-Йорк), любезно предоставившего для сверки текстов копию издания романа 1979 г.].

Глава I

Огромная, черная стрела часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки, билетики, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами, проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный соблазнительными обложками – фотографиями жемчужно-голых красавиц, – пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая вперед и все же пятясь, – как мучительный сон, в котором есть и усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и легкое головокружение, пройдут, отхлынут, уже замирая, уже почти падая навзничь…

Больше женщин, чем мужчин, – как это всегда бывает среди провожающих… Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час, нехорошо пахнущая натощак, в клетчатой пелерине, какой, небось, не носят в столице, – и мать, маленькая, круглая, вся в коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки.

И отошли не только они, – эти две знакомые улыбки, – тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым продавцом слив и сосисок, – тронулся и старый городок в розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюрст[4 - Владетельный германский князь, пользовавшийся правом выбора императора.] на площади, землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба, медное блюдо парикмахера… Теперь уж не остановить. Понесло! Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, сестра и мать пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от учащающихся толчков, – все скорее, все таинственнее едут дома, собор, площадь, переулки… И хотя уже давно мимо вагонного окна развертывались поля в золотистых заплатах, Франц еще ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил двадцать лет.

В деревянном, еще прохладном отделении третьего класса сидели кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый, словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери, против Франца, было занято журналом с голой стриженой красавицей на обложке, а в коридоре, у окна, спиной к отделению, стоял широкоплечий господин.

Город уехал. Франц схватился за бок, навылет раненный мыслью, что пропал бумажник, в котором так много: крепкий билетик, и чужая визитная карточка, и непочатый месяц человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый. Старушки стали шевелиться, шуршать, разоблачать бутерброды. Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в отделение.

Только тогда Франц увидел его лицо: нос – крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри непристойны и асимметричны, на щеках, на лбу – целая география оттенков – желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом, – какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе, отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво: шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись, под двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли журнал с соблазнительной обложкой.

У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось странное ощущение: неотвязно мерзка влажность нёба, отвратительно жив толстый, пупырчатый язык. Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине, – камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки; однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой… Всё – образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое новое, сродное им, впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене – оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни.

Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом; рюкзак юноши лежал бок о бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек чемоданом; а главное – старушки, несмотря на мерзкое соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали их под лавку… Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он расшатал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и, неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор.

Ему сразу стало легче, но головокружение не прошло. Вдоль окон пролетал буковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в отделения. Только в одном из них было свободное место; зато там сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими, раздраженными детьми, которые, подняв плечи в ожидании неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы поиграть сальными бумажками на полу, у ног пассажиров. Франц дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось и на лбу выступил пот. «Нет, нельзя…» – вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с восхитительным замиранием под ложечкой перешел по шаткой соединительной площадке в следующий вагон.

Это был вагон второго класса, а второй класс был для Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного греховным, пожалуй, – с привкусом пряного мотовства, – как рюмка густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе, как тот огромный помплимус[5 - Точнее помпельмус – род цитруса с крупными плодами.], похожий на желтый череп, который он как-то купил по дороге в школу. О первом классе нельзя было мечтать вовсе: бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных кепках и почти неземные актрисы!.. Но во второй… во второй… ежели набраться смелости… Покойный отец (нотариус и филателист) езжал, говорят, – давно, до войны, – вторым классом. И все-таки Франц не решался – замирал в начале прохода, у таблички, сообщавшей вагонный инвентарь, – и уже не решетчатый лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля, и вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой улепетывал лилипутовый автомобиль.

Его вывел из затруднения кондуктор, как раз совершавший обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет кондуктора.

В купэ[6 - В настоящем издании сохраняются некоторые черты набоковского правописания, особенности его пунктуации и транслитерации (написание слов шкап, чорт, свэтер, кашнэ, пенснэ и др., а также имен собственных, например, Тоффана, Лэстер).], куда Франц вошел с безмолвным, низким поклоном, сидели только двое: чудесная, большеглазая дама и пожилой господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так изящны были снимки на стенке: какой-то собор, какой-то водопад… Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана газету; но читать не мог: оцепенел в блаженстве, держа раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны. Дама – в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой, лицо серьезное, холодноватые глаза, легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших поперечных бороздках на горле. Господин, верно, иностранец, оттого что воротничок мягкий, и вообще… Однако Франц ошибся.

«Пить хочется, – протяжно сказал господин. – Жалко, что нет фруктов…»

«Сам виноват, – ответила дама недовольным голосом и погодя добавила: – Я все еще не могу забыть. Это было так глупо…»

Драйер слегка закатил глаза и не возразил ничего.

«Сам виноват, что пришлось прятаться…» – сказала она и машинально поправила юбку, машинально заметив, что пассажир, появившийся в углу, – молодой человек в очках, – смотрит на голый шелк ее ног. Потом пожала плечом.

«Все равно… – сказала она тихо, – не стоит говорить».

Драйер знал, что молчанием он жену раздражает неизъяснимо. В глазах у него стоял мальчишеский, озорной огонек, мягкие складки у губ двигались – оттого, что он перекатывал во рту мятную лепешку, – и одна бровь, желтая, шелковистая, была поднята выше другой. История, которая так рассердила жену, была, в сущности говоря, пустая. Август и половину сентября они провели в Тироле, и вот теперь, на обратном пути, остановившись на несколько дней по делу в антикварном городке, он зашел к кузине Лине, с которой был дружен в молодости, лет двадцать тому назад. Жена отказалась пойти наотрез. Лина, кругленькая дама с бородавкой как репейник на щеке, все такая же болтливая и гостеприимная, нашла, что «годы, конечно, наложили свой след», но что могло быть и хуже, угостила его отличным кофе, рассказала о своих детях, пожалела, что их нет дома, расспросила его о жене, которой она не знала, о делах, про которые знала понаслышке; потом стала советоваться. В комнате было жарко, вокруг старенькой люстры с серыми, как грязный ледок, стекляшками кружились мухи, садясь все на то же место, что почему-то очень его смешило, и с комическим радушием протягивали свои плюшевые руки старые кресла, на одном из которых дремала злая обветшалая собачка. И на выжидательный, вопросительный вздох собеседницы он вдруг сказал, рассмеявшись, оживившись: «Ну что ж, пускай он поедет ко мне, – я его устрою…» Вот это жена и не могла простить. Она назвала это: «Наводнять дело бедными родственниками» – но, в сущности говоря, какое же наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник? Зная, что Лина жену пригласит, а жена не пойдет ни за что, – он солгал, сказал Лине, что уезжает в тот же вечер. А потом, через неделю, на вокзале, когда они уже уселись в вагон, он вдруг из окна увидел Лину, Бог весть чем привлеченную на платформу. И жена ни за что не хотела, чтобы та заметила их, и хотя ему очень понравилась мысль купить на дорогу корзиночку слив, он не высунулся из окна с легким «пест…», не потянулся к молодому продавцу в белой куртке…

Удобно одетый, совершенно здоровый, с туманом легких мыслей в голове, с мятным ветерком во рту, Драйер сидел скрестив руки, и складки мягкой материи

на сгибах как-то соответствовали мягким складкам его щек, и очерку подстриженных усов, и веерам морщинок у глаз. И глядел он, слегка надув шею, слегка исподлобья, с портиками в глазах, на зеленый вид, жестикулирующий в окне, на прекрасный профиль Марты, обведенный смешной солнечной каемкой, на дешевый чемодан молодого человека в очках, который читал газету в углу, у двери. Этого пассажира он обошел, пощупал, пощекотал долгим, но легким, ни к чему не обязывающим взглядом, отметил зеленый крап его галстучка, стоившего, разумеется, девяносто пять пфеннигов, высокий воротничок, а также манжеты и передок рубашки, – рубашки, существующей, впрочем, только в идее, так как, судя по особому предательскому лоску, то были крахмальные доспехи довольно низкого качества, но весьма ценимые экономным провинциалом, который нацепляет их на суровую сорочку, сшитую дома. Над костюмом молодого человека Драйер нежно загрустил, подумав о том, что покрой пиджаков трогателен своей недолговечностью и что этот синий в частую белую полоску костюм уже пять сезонов как исчез из столичных магазинов.

В стеклах очков внезапно родились два встревоженных глаза, и Драйер отвернулся, поглатывая слюну с легким чмоканием. Марта сказала:

«Вообще, происходит какая-то путаница».

Муж вздохнул и ничего не ответил. Она хотела добавить что-то, но почувствовала, что молодой человек в очках прислушался, – и, вместо слов, резким движением облокотилась на столик, оттянув кулаком щеку. Посидев так до тех пор, пока мелькание леса в окне не стало тягостным, она, с досадой, со скукой, медленно разогнулась, откинулась, прикрыла глаза. Сквозь веки солнце проникало сплошной мутноватой алостью, по которой вдруг побежали чередой светлые полосы – призрачный негатив движущегося леса, – и каким-то образом вмешалось в эту красноту, в это мелькание, медленно и близко поворачивающееся к ней, невыносимо веселое лицо мужа, и она, вздрогнув, открыла глаза. Но муж сидел сравнительно далеко и читал книжку в кожаном переплете. Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещенной страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир, жадно, как игривая собака, ожидавший это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, – но, ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу.

То же резвое сияние было для Марты просто вагонной духотой. В вагоне должно быть душно; это так принято и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану,

прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков. Изящная книга хороша на столе, в гостиной или на полке. В вагоне, для отвода скуки, можно читать какой-нибудь ерундовый журналишко. Но эдак вкушать и впивать… переводную новеллу, что ли, в дорогом переплете. Человек, который называет себя коммерсантом, не должен, не может, не смеет так поступать. Впрочем, возможно, что он делает это нарочно, назло. Еще одна показная причуда. Ну что ж, чуди, чуди. Хорошо бы сейчас вырвать у него эту книжку и запереть ее в чемодан…

В это мгновение солнечный свет как бы обнажил ее лицо, окатил гладкие щеки, придал искусственную теплоту ее неподвижным глазам, с их большими, словно упругими зрачками в сизом сиянии, с их прелестными темными веками, чуть в складочку, редко мигавшими, как будто она все боялась потерять из виду непременную цель. Она почти не была накрашена; только в тончайших морщинках теплых, крупных губ сохла оранжевато-красная пыльца.

И Франц, до сих пор таившийся за газетой в каком-то блаженном и беспокойном небытии, живший как бы вне себя, в случайных движениях и случайных словах его спутников, медленно стал расти, сгущаться, утверждаться, вылез из-за своей газеты и во все глаза, почти дерзко, посмотрел на даму.

А ведь только что его мысли, всегда склонные к бредовым сочетаниям, сомкнулись в один из тех мнимо стройных образов, которые значительны только в самом сне, но бессмысленны при воспоминании о нем. Переход из третьего класса, где тихо торжествовало чудовище, сюда, в солнечное купэ, представился ему как переход из мерзостного ада, через пургаторий[7 - Чистилище.] площадок и коридоров, в подлинный рай. Старичок кондуктор, давеча пробивший ему билет и сразу исчезнувший, был, казалось ему, убог и полновластен, как апостол Петр. Какая-то лубочно-благочестивая картина, испугавшая его в детстве, опять странно ожила. Он обратил кондукторский щелк в звук ключа, отпирающего райский замок. Так, в мистерии, по длинной сцене, разделенной на три части, восковой актер переходит из пасти дьявола в ликующий парадиз. И Франц, отталкивая навязчивую и чем-то жутковатую грезу, стал жадно подыскивать приметы человеческие, обиходные, чтобы прервать наваждение.

Сама Марта ему помогла: глядя искоса в окно, она зевнула, дрогнув напряженным языком в красной полутьме рта и блеснув зубами. Потом замигала, разгоняя ударами ресниц щекочущую слезу. И Франца потянуло тоже к зевоте. В

ту минуту, как он, не справившись с силой, распиравшей нёбо, судорожно открыл рот, Марта на него взглянула и поняла по его зевоте, что он только что на нее смотрел. И сразу рассеялось болезненное блаженство, которое Франц недавно ощущал, глядя на мадоннообразный профиль. Он насупился под ее равнодушным лучом и, когда она отвернулась, мысленно сообразил, будто протрещал пальцем по тайным счетам, сколько дней своей жизни он отдал бы, чтобы обладать этой женщиной.

Резко хряснула дверь, и взволнованный лакей, точно предупреждая о пожаре, сунулся, рявкнул и метнулся дальше – выкрикивать свою весть.

Втайне Марта была против этих жульнических, летучих обедов, за которые дерут втридорога, хотя дают дрянь, и это почти физическое ощущение лишней траты, смешанное с чувством, что кто-то надувает и, надувая, наживает, было так в ней сильно, что, если б не тошный голод, она бы вовсе в столовый вагон не пошла. Сердито и смутно она позавидовала юнцу в очках, который при напоминании об обеде полез в карман пальто, висевшего рядом, и вытащил бутерброд. Сама же встала, взяла сумку под мышку. Драйер нашел фиолетовую ленточку в книге, заложил страницу и, выждав секунды две, как будто не мог сразу перейти из одного мира в другой, легонько хлопнул себя по коленям и выпрямился. Он тотчас заполнил все купэ: был он один из тех людей, которые, несмотря на средний рост и умеренную плотность, производят впечатление громоздкости. Франц поджал ноги. Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли.

Франц остался с серым бутербродом в опустевшем купэ. Он жевал и глядел в окно. Поднимался по диагонали окна зеленый откос, заполнил окно доверху, затем, разрешив железный аккорд, грохнул сверху мост, и мгновенно зеленый скат пропал, распахнулся свободный вид, луга, ивы вдоль ручья, лиловатые гряды капусты. Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза.

Столица… В самом названии этой незнакомой еще столицы – в увесистом грохоте первого слога и в легком звоне второго – было для него что-то волнующее. Экспресс уже как будто мчал его по знаменитому проспекту, обсаженному исполинскими древними липами, под которыми кипела цветистая толпа. Промчал экспресс мимо этих лип, пышно выросших из названия проспекта[8 - Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden – под липами) – один из наиболее известных бульваров Берлина.], и влетел под огромную арку в перламутровых блестках. Дальше был увлекательный туман, где поворачивалась

фотографическая открытка – сквозная башня в расплывчатых огнях на черном фоне. Она исчезла, и в сияющем магазине, среди золоченых болванок, изображавших торсы, и чистых зеркал, и стеклянных прилавков, Франц разгуливал – в визитке, в полосатых штанах, в белых гетрах – и плавным движением руки направлял покупателей в нужные им отделы. Это уже была не совсем сознательная игра мысли, но еще не сон; и в тот миг, когда сон собрался его подкосить, Франц опять овладел собой, направил мысли по собственному усмотрению, оголил плечи даме, только что сидевшей у окна, прикинул – взволнован ли он? – затем, сохранив голые плечи, переменил голову, подставил лицо той семнадцатилетней горничной, которая испарилась с серебряной суповой ложкой до того, как он успел ей объясниться в любви; но и эту голову он затушевал и вместо нее приделал лицо одной из тех лихих столичных красавиц, которые встречаются главным образом на ликерных и папиросных рекламах; и только тогда образ ожил: гологрудая дама подняла к пунцовым губам рюмку, покачивая ажурной ногой, с которой спадала красная туфелька без задника. Туфелька свалилась, и Франц, нагнувшись за ней, пошатнулся, мягко нырнул в темную дремоту. Он спал с разинутым ртом, так что были на его бледном лице три дырки: две блестящих – стекла очков, и одна черная – рот. Драйер это отметил, когда, час спустя, вернулся с женой из вагона-ресторана. Они молча переступили через протянутую мертвую ногу. Марта положила сумку на откидной столик под окном, и никелевый глазок сумки сразу ожил, мелко заиграл зеленым блеском. Драйер закурил сигару.

Обед оказался недурным, и Марта теперь не жалела, что пошла. Цвет лица у нее как-то потеплел, прекрасные глаза были влажны, блестели свежо подмазанные губы; она улыбнулась, чуть обнажив резцы, и эта довольная, драгоценная улыбка медлила на ее лице несколько мгновений. Драйер глядел на жену, слегка прищурясь, наслаждаясь ее улыбкой, как неожиданным подарком, – но ни за что в мире он не показал бы этого. Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке, после того как уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины.

Франц вдруг подтянул ногу, но не проснулся. Поезд стал грубо тормозить. Проплыли красноватые стены, огромная труба, словно выложенная мозаикой, товарные вагоны, стоявшие на запасном пути; и затем в отделении потемнело: вокзал.

«А я, моя душа, пойду прогуляться», – сказал Драйер, любивший курить на свежем воздухе.

Марта, оставшись одна, откинулась в угол, посмотрела, зевнув, на мертвеца в очках, равнодушно подумала, что он сейчас съедет на пол. Драйер, гуляя по платформе, мимоходом поиграл пальцами по оконному стеклу, но жена больше не улыбнулась, – и, пыхнув дымом, он двинулся дальше. Шел он неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпятив сигару. Между прочим он подумал о том, что хорошо бы так прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где-нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород… Можно хоть сегодня пуститься в путь: земной шар огромен и кругл, – и денег достаточно на пять, а то и больше, полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедем, дела подождут. Купить, что ли, газету; биржа, пожалуй, тоже любопытная вещь. И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? Америка, Мексико, Пальмовый Пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет, ее не уломать… Где же, в сущности говоря, газетный лоток… Этот велосипед с завернутыми лапками сейчас так отчетлив, а забуду его навсегда, забуду, что смотрел на него, все забуду… И вот, багажный вагон тронулся, поплыл. Э! да это мой поезд… А все-таки надо купить…

Драйер мелкой рысью кинулся к лотку, выбрал на ладони монету, кинулся обратно, засовывая газету в карман. Он не очень ловко вскочил на проплывавшую подножку и не сразу мог отворить дверь. Посмеиваясь и глубоко дыша, он прошел один вагон, второй, третий. В предпоследнем коридоре учтиво отодвинулся, чтобы пропустить его, длинный господин. Драйер, мимоходом глянув на него, увидел лицо взрослого человека с носиком грудного младенца. «Занятно, – подумал Драйер, – очень занятно». В следующем вагоне он отыскал свое купэ, опять переступил через мертвую ногу и тихонько сел. Марта, по-видимому, спала. Он развернул газету и вдруг заметил, что Марта глядит на него в упор.

«Сумасшедший идиот», – сказала она спокойно и тотчас прикрыла глаза снова. Драйер дружелюбно ей покивал и окунулся в газету.

Первая часть дороги – первая глава путешествия – всегда подробна и медлительна. Средние часы – дремотны, последние – скоры. И вот Франц проснулся, пожевал губами. Его спутники спали. Свет в окне поблек, точно где-то потушили одну, две лампочки. Он посмотрел на кисть, на часики под решеткой. Он спал очень долго. Отяжелели ноги, и во рту был препротивный вкус. Тщательно вытерев стекла очков, он выбрался в коридор.

И с этих пор время пошло быстро. Час спустя ожила и чета Драйер, лакей принес им кофе в толстых чашках, кофе было скверное. Где-то потухли еще две-три лампочки. Потом, в сумерках, по окну стал тихонько потрескивать дождь, катились по стеклу струйки, останавливались неуверенно и снова быстро сбегали вниз. За окнами коридора под аспидной тучей тлел узкий, желтый закат. И еще немного спустя электрический свет озарил отделение, и Марта долго смотрелась в зеркальце, скаля зубы, подтягивая верхнюю губу.

Драйер, весь еще полный приятного тепла дремоты, посмотрел на потускневшее окно, на струйки, угловато сбегавшие по стеклу, подумал, что завтра воскресенье, что утром он поедет играть в теннис (за который недавно принялся с жарким рвением пожилого человека) и что нехорошо, если помешает дождь. Он спросил себя, сделал ли он успехи, бессознательно напряг правое плечо и тотчас вспомнил холеную, солнцем облитую площадку в тирольском городке и знаменитого, баснословного игрока, который пришел на состязание в белом пальто с полудюжиной ракет под мышкой, а затем медленно, с профессиональной плавностью снял и пальто, и шелковый шарф, и цветистый свэтер, – и, сверкнув по локоть обнаженной рукой, поддал звучно и с какой-то нечеловеческой точностью первый, пробный мяч.

«Осень, дождь», – сказала Марта, резко захлопнув сумку.

«Совсем маленький», – тихо поправил Драйер.

Поезд, как бы уже попав в поле притяжения столицы, шел необыкновенно быстро. Стекла совсем потемнели, в них незаметно появились отражения, отблески. Мелькнула мимо огненная полоса встречного поезда и навеки оборвалась. Франц, вернувшись в купэ, вдруг судорожно схватился за бок. И еще через час в смутном мраке появились далекие россыпи огней, бриллиантовые пожары.

Вскоре Драйер встал; Франц, с холодком волнения в груди, встал тоже. Драйер стал стаскивать чемоданы (он очень любил совать их носильщику в окно); Франц, поднявшись на цыпочки, стал стаскивать свой чемодан тоже. Оба мягко столкнулись спинами, и Драйер рассмеялся. Волнуясь и торопясь, Франц стал надевать пальто, не мог сразу попасть в рукав, нахлобучил зеленую свою шляпу и вышел в коридор.

Огней в темноте прибавилось, и вдруг, словно под самыми ногами, открылась улица с освещенным трамваем и пропала опять за мелькавшими стенами, которые кто-то быстро тасовал.

«Поскорей бы! – взмолился Франц. – Это невыносимо…»

Промахнула мелкая станция, платформа под черным навесом, и снова стало темно, точно никакой столицы и близко не было. Наконец разлился желтоватый свет, озарил тысячу рельс, ряды мокрых спящих вагонов, – и медленно, уверенно, плавно огромная железная полость вокзала втянула в себя сразу отяжелевший поезд.

Франц вылез на платформу, в дымную сырость. Проходя мимо покинутого вагона, он увидел своего светлоусого спутника, который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он пожалел, что расстается навсегда с той прелестной, большеглазой дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной, длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и, мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавков для багажа, вышел на волю.

Глава II

Смутный золотистый свет, воздушная отельная перина… Опять – пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не окончательное? Так бывает: очнешься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купэ второго класса, вместе с неизвестной изящной четой, – а на самом деле это – пробуждение мнимое, это только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой и все не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь. Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за свободную действительность: веря в нее, переходишь, не дыша, какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь, потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый казус, – и действительность теряет вдруг привкус действительности; мысль обманулась, ты еще спишь; бессвязная дремота глушит сознание; и вдруг опять прояснение: смутный золотистый свет и номер в

гостинице, название которой «Видэо» – написал тебе на листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки, – кто ее знает, явь ли это, окончательная явь, или только новый обманчивый слой?

Франц, еще лежа навзничь, близорукими, мучительно сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в сторону – на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение, – он потянулся к ночному столику, нащупывая очки.

И только прикоснувшись к ним, вернее, не к ним, а к бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту мелочь, тот нелепый казус… Войдя вчера в номер, осмотревшись, распахнув окно, за которым, однако, он увидел, вместо воображаемых огней, только темный двор и темное шумящее дерево, он содрал грязный, томивший шею воротник и, спеша, принялся мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника, с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону, держа перед собой тяжелый, бушующий таз, и под каблуком зловеще хрустнуло.

Восстановив все это в уме, Франц поморщился. Что ж, надо отдать очки в починку; стекло, да и то треснувшее, осталось только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина. Сперва – магазин, потом важное, страшноватое посещение. И вспомнив, как мать настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по приезде («…это будет как раз такой день, когда делового человека можно застать…»), Франц вспомнил и то, что нынче – воскресенье.

Он цокнул языком и замер. Его охватило паническое чувство: без очков он все равно что слепой, а нужно пуститься в опаснейший путь, через незнакомый город. Он вообразил хищные призраки автомобилей, которые вчера, на месте погрохатывая, теснились у вокзала, когда он, еще зрячий, но отуманенный сырой ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее ночного сверкающего роения.

Но просидеть весь день в номере, среди смутных, враждебных предметов, без дел дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь магазин с вывеской в виде огромного синего пенснэ наконец откроется, – это было немыслимо. Франц откинул перину и, босиком, осторожно прошлепал к окну. День был голубой, нежный, на диво солнечный; слева наползала бархатистая тень, и невозможно

было понять, где кончается тень и где начинается расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И было тихо-тихо, будто в осенней, погожей деревенской глуши.

Казалось теперь, что в комнате душная шумиха: раздраженный гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого стула, под которым давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого жилета; тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него споткнуться; – и казалось так шумно в комнате именно по сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как дорогое вино, в холодной глубине двора.

Наконец Франц преодолел все туманы, высмотрел шляпу, шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к двери. Только его лицо так и осталось неодетым. Осторожно сойдя вниз, он швейцару показал адрес на бесценной визитной карточке, и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать.

Он вышел на улицу и сразу с головой погрузился в струящееся сияние. Очертаний не было; как снятое с вешалки легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком, новым, столичным, промахивал автомобиль, млели розоватые громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно вонзался в зрачок.

Франц дошел до угла, отыскал, щурясь, красный указатель остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь под сваи, и сразу тяжелым, желтым миражем надвинулся автобус. Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился за поручень, и голос – очевидно, кондукторский – гаркнул ему в ухо: «Наверх!» Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой кружащейся лесенке – в родном городке ходил только трамвай, – и, когда автобус рванул, он едва не потерял равновесия, увидел на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого поворота – при котором, казалось, автобус весь накренился, – взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу, по улице, как медузы, скользили люди среди внезапно

замершего автомобильного студня, – потом все это опять двигалось, и смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные – по другой текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное небо. Такой представилась Францу столица – призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть не похожей на его грубую провинциальную мечту.

Чистый воздух свистел в уши, райскими голосами перекликались гудки, внезапно пахнуло прелой листвой, и одна смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя он спросил у кондуктора, где ему вылезать; оказалось, что еще не скоро. Он принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать, – и мучительно старался различить улицы, по которым проезжал. Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная зеркальность того, что плыло мимо, – все сливалось в ощущение бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно дергал шеей, чтобы чувствовать твердую головку запонки, казавшуюся ему единственным доказательством его бытия.

Наконец он доехал; замирая, сполз вниз по лесенке и вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах – быть может, незамеченный сосед – крикнул ему: «Направо! Первый поворот напра —», Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина, и безлюдность, и солнечная зыбкость… Он терялся, таял в этой смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек – тот самый, от которого он вчера бежал. Почти наверное можно сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть теней, – однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести глаза. «Прямо напротив, – где ограда», – бодро сказал человек и пошел своей дорогой.

Франц переправился через улицу, нашел калитку, нащупал кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она заартачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чем дело, он боком уперся в калитку, пока звонил, и она так сердито открылась, что он чуть не упал. Кто-то окликнул его: «Вам к кому?» Он повернулся на голос и увидел женщину в светлом платье, стоявшую перед ним на гравистой тропе, ведущей к дому.

«Его еще нет», – неторопливо сказал голос, когда Франц ответил.

Он прищурился, увидел белое лицо, темные гладкие волосы.

«Мне очень важно, – сказал Франц. – Я вот приехал… Я прихожусь ему родственником…» – Он почему-то вытащил бумажник и стал рыться в нем, отыскивая пресловутую карточку. Дама на него пристально глядела, стараясь понять, где это она уже видела его. У него были прозрачные от солнца уши и невинный лоб в мельчайших капельках пота у самых корней волос. Внезапно воспоминание, как фокусник, надело на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняло. Дама усмехнулась. Одновременно Франц, найдя карточку, поднял голову.

«Вот, – сказал он, – мне было велено сюда явиться. Я думал, что так как сегодня воскресенье —»

Она посмотрела на карточку и опять усмехнулась:

«Мой муж поехал играть в теннис. Он вернется к обеду. А ведь мы уже встречались…»

«Виноват?» – сказал Франц и напряг зрение.

Позже, вспоминая эту встречу, марево сада, хрустящий гравий, солнечно-пестрое платье, – он часто недоумевал – как это он сразу не узнал ее? Правда, он был беспомощно близорук, правда, он ее раньше не видел без шляпы и, вероятно, не ожидал, что у нее такая голова – пробор посередке и сзади шиньон (единственное, кстати сказать, в чем Марта не следовала моде), – все же не так-то просто было объяснить, как это он мог долго-долго дураком стоять перед ней и не понимать, к чему она клонит. Ему казалось потом, что в то утро он попал в смутный и неповторимый мир, существовавший один короткий воскресный день, мир, где все было нежно и невесомо, лучисто и неустойчиво. В этом сне могло случиться все что угодно: так что и впрямь оказывается, что Франц в то утро, в отельной постели, не проснулся действительно, а только перешел в новую полосу сна. Марта в бесплотном сиянии его близорукости нисколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато мадоннообразное в ее облике, примеченное им вчера в полудремоте и снова утраченное, – теперь проявилось вполне, как будто и было ее сущностью, ее

душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, – нравится ли ему эта туманная дама: близорукость целомудренна. Но, кроме всего, она оказалась женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба; женой человека, из которого ему было сказано выжать все, что только возможно, – и тем самым она стала выше, отдаленнее, недоступнее, даром что он познакомился с ней. Следуя за Мартой по дорожке к дому, он слегка размахивал руками и, второпях, мучась желанием поскорее расположить ее к себе, говорил о том, какое это неожиданное, удивительное, небывалое и очень, очень приятное совпадение.

Сбоку от крыльца на мураве стоял огромный полотняный зонт, и под ним – столик и несколько плетеных кресел. Марта села, Франц, улыбаясь и щурясь, сел рядом. Она решила, что ошеломила его совершенно видом небольшого, но очень дорогого сада, где, между прочим, было и персиковое деревцо, и плакучая ива, и серебристые елочки, и какая-то патентованная яблоня, и магнолия, и банан, уже завернутый в рогожку… То, что сад для Франца только зеленоватое марево, ей просто в голову не пришло, хотя она заметила, как беспомощно он близорук. Приятно принимать его так изящно в саду, приятно поражать невиданным богатством, но особенно приятно будет показывать ему комнаты в особняке и выслушивать рокот его почтительного восхищения. И так как обыкновенно у нее бывали люди ее же круга, перед которыми ей давно наскучило щеголять, она была почти нежно благодарна этому провинциалу в узких штанах за то, что он дает ей возможность освежить, возобновить ощущение гордости, которое она знала в первые месяцы замужества.

«У вас такая тишина… – сказал Франц. – Я думал, что город так шумен…»

«Да ведь мы живем почти за городом, – ответила она и, чувствуя себя на семь лет моложе, добавила: – Вон там, соседняя вилла принадлежит графу Брамсдорфу… Очень милый старик, часто у нас бывает…»

«Приятнейшая тишина», – сказал Франц, развивая тему и уже предчувствуя тупик.

Она посмотрела на его белую руку, плашмя лежащую на столе. Худые пальцы слегка дрожали.

«Вы, значит, как приходитесь моему мужу? Троюродным племянником, не правда ли? Вы будете служить – это хорошо. У него дело огромное. Ну, вы, конечно, уже слыхали о магазине – там только мужские вещи, но зато – всё, всё, – галстуки, шляпы, спортивные принадлежности. Потом у него есть контора, всякие банковские дела…»

«Трудно начать, – сказал Франц, барабаня пальцами. – Я боюсь… Но я знаю, ваш муж – прекрасный человек, добрейший человек…»

В это время откуда-то появился призрак собаки, оказавшейся при ближайшем рассмотрении желто-серой овчаркой. Пес подошел и, опустив голову, что-то положил к ногам Франца. Потом отошел аршина на три, уже в туман, и там остался – выжидательно.

«Это – Том, – сказала Марта. – Том получил приз на выставке. Не правда ли, Том?»

Франц, из уважения к хозяйке, поднял с муравы то, что Том принес. Это оказалось мокрым деревянным шаром, сплошь испещренным следами зубов. Как только он поднял шар, – а поднял он его к самому лицу, – призрак собаки вынырнул из солнечного тумана, стал живым, теплым, дышащим и прыгнул, чуть не свалив его со стула. Он поспешно бросил шар; собака исчезла.

Шар попал прямо в астры; но Франц этого, конечно, не увидел.

«Чудная собака», – сказал он, с отвращением вытирая мокрую руку о колено под столом. Марта беспокойно смотрела в сторону: Том, в поисках шара, мял астры. К счастью, в эту минуту быстро проехал мальчишка на велосипеде, и собака, мгновенно забыв шар, стремглав бросилась к ограде сада и промчалась вдоль нее с неистовым лаем. Потом, сразу успокоившись, затрусила обратно и легла у ступени крыльца, выпустив язык и поджав одну переднюю лапу, по-львиному.

Франц, слушая, что Марта рассказывает ему о Тироле, чувствовал, что собака где-то поблизости, и с тревогой думал, что вот-вот она ему назад принесет склизкую гадость.

«…Но мне было душно, – говорила Марта, – мне казалось, что эти горы вот-вот рухнут на гостиницу. Мы думали было поехать оттуда в Италию, да мне как-то

расхотелось. Он совсем дурак, – наш Том. Вот пришел чужой, а ему что чужой, что свой – все равно. Вы в столице впервые, не правда ли? Нравится?»

Франц потрогал глаза.

«Я совсем слепой, – сказал он, – пока не куплю новых очков, ничего не могу оценить… А в общем – хорошо… И у вас так тихо…»

Он почему-то вдруг подумал, что, вероятно, вот сейчас его мать возвращается домой из церкви. Меж тем он ведет трудный, но приятный разговор с туманной дамой в туманном сиянии. Это все очень опасно, каждое слово может оступиться. И Марта отметила эту прерывистость, замирание, неловкость. «Он ослеплен и смущен, он такой молоденький, – подумала она с презрением и нежностью. – Теплый податливый воск, из которого можно сделать все, что захочется». И она сказала – просто так, в виде пробы:

«Если желаете служить, сударь, вы должны держаться бодрее, увереннее».

Как она и полагала, Франц не нашелся что ответить и только хмыкнул.

Она увидела, что ему неприятно, но сказала себе, что это крайне для него полезно. Францу и впрямь стало на миг неприятно, но не совсем так, как думала Марта. Какая-то неожиданная живость и грубоватость появились в ее голосе, и он смутно различил, как она, подавая пример, расправила плечи при словах «бодрее, увереннее»; все это не вязалось с ее бесплотным обликом, меж тем как ее прежние, скользящие слова ничуть его не коробили. Неприятность, впрочем, мгновенная: Марта сразу затуманилась опять, влилась в общую туманность.

«А все-таки свежо… – сказала она. – По вечерам совсем даже холодно. Я люблю холод, но он меня не любит».

«У нас еще купаются», – заметил Франц. Он решил было рассказать о родной реке, о том, как славно там плавать, нырять прямо с лодки, о сильном течении и чистоте воды, – но в это мгновение грянул автомобиль за оградой, хлопнула дверца, и Марта, повернувшись, сказала: «Вот наконец и мой муж».

Она пристально смотрела на Драйера, который быстро, чуть подпрыгивающей походкой, шел по тропе. Он был в просторном пальто, на шее, спереди, пучилось белое кашнэ, из-под мышки торчала ракета в чехле, как музыкальный инструмент, в руке он нес чемоданчик. Марте стало досадно, что прервался разговор, что она уже не наедине с Францем, не занимает, не поражает его всецело, – и совершенно невольно она переменила манеру по отношению к Францу, как будто между ними, как говорится, «что-то было», и вот явился муж, перед которым надо держаться суше. А кроме того, она, конечно, не собиралась показывать мужу, что бедный родственник, заранее ею расхаянный, оказался вовсе не таким уже плохим, – и потому, когда Драйер подошел, она незаметной, тонко рассчитанной ужимкой хотела выразить ему, что вот, мол, своим приходом он наконец освободит ее от скучного гостя; но Драйер, приближаясь, не спускал глаз с Франца, который, вглядываясь в туман, встал, вытянулся, готовился поклониться. Драйер, по-своему наблюдательный и до пустых наблюдений охочий (он часто играл сам с собой, вспоминая, какие картины были на стенах в чужом кабинете), сразу, еще издали, узнал вчерашнего пассажира и сперва подумал, что их случайный спутник подобрал какую-нибудь вещицу, которую они посеяли в вагоне, и вот разыскал их, принес; но вдруг другая мысль, еще более забавная, пришла ему в голову. Марта видела, как ноздри его расширились, губы вздрогнули, морщинки у глаз умножились, заиграли, и в следующий миг Драйер расхохотался, да так, что Том, прыгавший вокруг него, разразился неудержимым лаем. Ему смешно было не только само совпадение, но и то, что, вероятно, жена что-нибудь говорила о его родственнике, пока родственник тут же сидел в отделении. Что именно говорила Марта, мог ли это слышать Франц, – никак уже не вспомнить, – но что-то было, что-то было, и эта щекочущая неуверенность еще усиливала смешную сторону совпадения. Он смеялся, пока жал руку племяннику, он продолжал смеяться, когда со скрипом пал в плетеное кресло. Том все лаял. Марта вдруг подалась вперед и наотмашь, сверкнув кольцами, сильно ударила собаку по бедру. Та взвизгнула и отошла.

«Очаровательно… – проговорил Драйер, вытирая глаза большим шелковым платком. – Вы, значит, Франц, сын Лины?.. После такого удивительного случая мы должны быть на “ты”, – и ты, пожалуйста, зови меня не “господин директор”, а дядя, дядя, дядя…»

«…избегать местоимения и обращения», – вскользь подумал Франц. Однако ему стало тепло и покойно. Драйер, хохочущий в тумане, был смутен, несуразен и безопасен, как те совершенно чужие люди, которые являются нам во сне и говорят с нами, как близкие.

«Я сегодня был в ударе, – обратился Драйер к жене, – и, знаешь, голоден. Я думаю, Франц тоже голоден…»

«Сейчас подают», – ответила Марта и встала, ушла; солнце медленно ее затушевало.

Франц почувствовал себя еще свободнее и сказал:

«Я должен просить прощенья. Разбил очки и ничего не вижу, так что несколько теряюсь…»

«Ты где же остановился?» – спросил Драйер.

«Гостиница “Видэо”, – сказал Франц, – у вокзала. Мне посоветовали».

«Так-с. Раньше всего тебе нужно найти хорошую комнату. Поблизости отсюда, за сорок-пятьдесят марок. Ты в теннис играешь?»

«Да, конечно», – ответил Франц, вспомнив какой-то задний двор, подержанную ракету, купленную у антиквара за марку, и черный резиновый мяч.

«Ну вот, – будем лупить по воскресеньям. Затем нужно тебе приличный костюм, рубашки, галстуки, всякую всячину. Ты как, с Мартой подружился?»

Франц осклабился.

«Ладно, – сказал Драйер. – Я думаю, что обед готов. О делах потом. Дела обсуждаются за кофе».

Он увидел жену, вышедшую на крыльцо. Она холодно на него посмотрела, холодно кивнула и опять ушла в дом. «Что за амикошонство[9 - Чрезмерная фамильярность (от фр. ami – друг и cochon – свинья).]», – сердито подумала она, проходя через белую переднюю, где на подзеркальнике лежали официально чистенькие гребешок и щетка; весь дом, небольшой, двухэтажный, с террасой, с антенной на крыше, был такой же – чистый, изящный и в общем никому не нужный. Хозяина он смешил. Хозяйке он был по душе, – или, вернее, она просто считала, что дом богатого коммерсанта должен быть именно таким, как этот. В

нем были все удобства, и большинством из этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике, в ванной комнате, круглое, в человеческое лицо, увеличительное зеркало на шарнирах, с приделанной к нему электрической лампочкой. Марта как-то его подарила мужу для бритья, но тот очень скоро его возненавидел: нестерпимо было видеть каждое утро ярко освещенную, раза в три распухшую, свиной щетиной за ночь обросшую морду. В бидермайеровской гостиной мебель походила на выставку в хорошем магазине. На письменном столе, которому Драйер предпочитал стол в конторе, стоял, вместо лампы, бронзовый рыцарь (прекрасной, впрочем, работы) с фонарем в руке. Были повсюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда еще не прильнула человеческая щека, альбомы – дорогие, художественные книжищи, которые раскрывал разве только самый скучный, самый застенчивый гость. Все в доме, вплоть до голубой окраски стен, до баночек с надписями: сахар, гвоздика, цикорий, на полках идиллической кухни, – исходило от Марты, которой, семь лет тому, муж подарил еще пустой и на все готовый, только что выстроенный особнячок. Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Потому-то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем. Впрочем, Марта накупила на аукционе и несколько старых полотен: среди них был превосходный портрет старика, писанный масляными красками. Старик благородного вида, с баками, в сюртуке шестидесятых годов, на коричневом фоне, сам освещенный, словно зарницей, стоял, слегка опираясь на тонкую трость. Марта приобрела его неспроста. Рядом с ним – на стене в столовой – она повесила дагерротип деда, давно покойного купца; дед на дагерротипе тоже был с баками, в сюртуке, и тоже опирался на трость. Благодаря этому соседству картина неожиданно превратилась в фамильный портрет. «Это мой дед», – говорила Марта, указывая гостю на подлинный снимок, и гость, переводя глаза на картину рядом, сам делал неизбежный вывод.

Но ни картин, ни глазчатых подушек, ни фарфора Франц, к сожалению, не мог рассмотреть, хотя Марта умело и настойчиво обращала его близорукое внимание на комнатные красоты. Он видел нежную красочную муть, чувствовал прохладу, запах цветов, ощущал под ступней тающую мягкость ковра – и, таким образом, воспринимал именно то, чего не было в обстановке дома, что должно было в ней быть, по мнению Марты, то, за что было ею дорого заплачено, – какую-то воздушную роскошь, в которой, после первого бокала красного вина, он стал медленно растворяться. Драйер налил ему еще, – и Франц, к вину не привыкший,

почувствовал, что его нижние конечности растворились уже совершенно. Марта сидела где-то вдалеке, светлым призраком; Драйер, тоже призрачный, но теплый, золотистый, рассказывал, как он однажды летел из Мюнхена в Вену, как туман заволок землю, как машину бросало, трясло и как ему хотелось пилоту сказать: «Пожалуйста, остановитесь на минутку». Меж тем Франц испытывал фантастические затруднения с ножами и вилками, боролся то с волованом[10 - Пирожок из слоеного теста, подаваемый к бульонам.], то с неуступчивым пломбиром и чувствовал, что вот-вот, еще немного – и уже тело его растает, и останется уже только голова, которая, с полным ртом, станет, как воздушный шар, плавать по комнате. Кофе и кюрасо, которое сладко заворачивалось вокруг языка, доконали его. Марта исчезла в тумане, и Драйер, кружась перед ним медленным золотистым колесом с человеческими руками вместо спиц, стал говорить о магазине, о службе. Он отлично видел, что Франц совсем разомлел от хмеля, и потому в подробности не входил; сказал, однако, что Франц очень скоро превратится в прекрасного прикащика, что главный враг воздухоплавателя – туман и что так как жалованье будет сперва пустяковое, то он берется платить за комнату и очень будет рад, если Франц будет, хоть каждый день, заходить, причем он не удивится, если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Европой и Америкой. Все это путалось в голове у Франца; кресло, в котором он сидел, путешествовало по комнате плавными кругами. Драйер глядел на него исподлобья и, посмеиваясь в предчувствии того нагоняя, который даст ему Марта, мысленно вытряхивал Францу на голову огромный рог изобилия; ибо Франца он должен был как-нибудь вознаградить за чудесный, приятнейший, еще не остывший смех, который судьба – через Франца – ему подарила. И не только его, но и Лину нужно было вознаградить – за ее бородавку, собачку, качалку с подушкой для затылка в виде зеленой колбасы, на которой было вышито: «только четверть часика». И затем, когда Франц, дыша вином и благодарностью, простился с ним, осторожно сошел по ступеням в сад, осторожно протиснулся в калитку и, все еще держа шляпу в руке, исчез за углом, Драйер подумал, как бедняга славно выспится там, у себя в номере, – и сам почувствовал упоительную дремотность, – после тенниса, после обеда – поднялся по внутренней деревянной лестнице наверх, в спальню.

Там, в оранжевом пеньюаре, согнув голую, бархатно-белую шею, которую особенно оттеняла темнота ее волос, собранных сзади в низкий, толстый шиньон, сидела у зеркала Марта и розовой замшей терла ногти. В зеркале Драйер увидел ее гладкие виски, белый равнобедренный треугольник лба, напряженные брови, – и так как Марта не подняла головы, не оглянулась, он понял, что она сердится.

Он мягко сказал, желая ухудшить положение: «Отчего ты исчезла? Могла подождать, пока он уйдет… правда же…»

Марта, не поднимая глаз, ответила: «Ты ведь прекрасно знаешь, что мы сегодня приглашены на чай. Тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок».

«У нас есть еще часок, – сказал Драйер, – я, в сущности говоря, хотел было соснуть».

Марта, быстро поводя замшей, молчала. Он скинул пиджак, развязал галстук, потом сел на край кушетки, стал снимать башмаки.

Марта склонилась еще ниже и вдруг сказала: «Удивительно, как у некоторых людей нет никакого чувства собственного достоинства».

Драйер крякнул.

Спустя минуту Марта со звоном отбросила что-то на стеклянную подставку туалета и сказала: «Интересно знать, что этот молодой человек подумал о тебе? Говори мне “ты”, называй “дяденька”… Неслыханно…»

Драйер улыбнулся, шевеля пальцами ног и глядя, как переливается золотистый шелк носков.

Марта вдруг обернулась к нему и, облокотясь на белую ручку кресла, подперла кулаком подбородок. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась. Она пристально смотрела на мужа, прикусив губу.

Муж взглянул на нее исподлобья играющими озорными глазами.

«Ты добился своего, – задумчиво сказала Марта. – Устроил племянничка. Теперь будешь возиться с ним. Наобещал ему, вероятно, горы добра».

Драйер, сообразив, что ему подремать не удастся, сел поудобнее, опираясь теменем об стену, и стал думать, что будет, если он сейчас скажет примерно что-нибудь такое: у тебя есть тоже причуды, моя душа: ездишь вторым классом, а не первым – оттого что второй ничуть не хуже, – а получается страшная

экономия – сберегается колоссальная сумма в двадцать семь марок и шестьдесят пфеннигов, которая иначе канула бы в карманы тех, дескать, мошенников, которые придумали первый класс. Ты бьешь собаку, оттого что собаке не полагается громко смеяться. Все это так, все это, предположим, правильно. Но позволь же и мне поиграть, оставь мне племянничка…

«Ты, очевидно, со мной говорить не желаешь, – сказала Марта, – ну что ж…» – Она отвернулась и опять принялась за ногти.

Драйер думал: «Раз бы хорошо тебя пробрало… Ну рассмейся, ну разрыдайся. И потом, наверное, все было бы хорошо…»

Он кашлянул, расчищая путь для слов, но, как уже не раз случалось с ним, решил в последнюю минуту все-таки не сказать ничего. Было ли это – желание раздразнить ее немотой, или просто – счастливая лень, или – бессознательная боязнь что-то вконец разрушить, – Бог весть. Глубоко засунув руки в карманы штанов, откинувшись к голубой стене, он молчал и смотрел на очаровательную шею Марты, а потом перевел глаза на широкую женину постель, покрытую кружевом и строго отделенную от его – тоже широкой, тоже кружевной – постели ночным столиком, на котором сидела раскорякой долголягая кукла – негр во фраке. Этот негр, и пухлые кружева, и белая, церемонная мебель – смешили, претили. Он зевнул, потер переносицу. Потом встал, решив, что сейчас переоденется и полчасика почитает на террасе. Марта скинула свой оранжевый пеньюар, поправила бридочку на плече, мягко сдвинув голые лопатки. Он исподлобья посмотрел на ее спину и, улыбкой проводив какую-то милую мысль, беззвучно прошел в коридор, а оттуда в гардеробную.

Как только дверь прикрылась за ним, Марта быстро и яростно свернула замку шею. Это был, пожалуй, первый ее поступок, который она не могла бы себе объяснить. Он был тем более бессмысленный, что все равно ей нужна будет сейчас горничная, и придется отпереть. Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всего яснее вспомнила именно дверь и ключ, как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню. Однако, заперев дверь, от гнева своего она не отделалась. А сердилась она смутно и бурно. Ее сердило, что посещение Франца доставило ей странное удовольствие и что удовольствием этим она обязана мужу. Выходило так, что, значит, она ошиблась, а прав был ее непослушный и чудаковатый муж, пригласивший сдуру бедного родственника. Поэтому она старалась прелести посещения не признать, дабы муж остался неправым; но приятно ей было и то, что сегодняшнее удовольствие,

несомненно, повторится. И странное дело: будь она уверена, что ее слова заставят мужа не принимать Франца, она бы, пожалуй, их не сказала. Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто, не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни. Таким образом, из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке выросло что-то облачное и непоправимое. Меж тем не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга. Смутное свойство ее ощущений, невозможность толково разобраться в том, почему же он ей пришелся по вкусу – этот беспомощный, близорукий провинциал с прыщиками между бровей, – так ее раздражало, что она готова была сердиться на все – на зеленое платье, приготовленное на кресле, на толстый зад Фриды, копошившейся в нижнем ящике комода, на свое же злое лицо, отраженное в зеркале. Ей вспомнилось, что на днях минуло ей тридцать четыре года, и со странным нетерпением она стала искать на этом отраженном лице слабых складок, вялых теней. Где-то тихо закрылась дверь, заскрипели ступени лестницы (они не должны были скрипеть!), веселенький, фальшивый свист мужа удалился, пропал. «Он танцует плохо, – подумала Марта. – Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать. Он не понимает, что это теперь так модно. Что это модно и необходимо».

Глухо сердясь на Фриду, она просунула голову в мягкую, собранную окружность платья; мимо глаз, сверху вниз, пролетела зеленая тень; она вынырнула, погладила себя по бокам и почувствовала вдруг, что этим легким зеленым платьем ее душа на время окружена и сдержана.

Внизу, на квадратной террасе – с цементовым полом, с астрами на широких перилах, – у голого стола, в полотняном складном кресле сидел Драйер и, положив раскрытую книжку на колено, глядел в сад. За оградой уже неумолимо стоял черный автомобиль, дорогой «Икар». Новый шофер, облокотясь с внешней стороны на калитку, переговаривался с садовником. В осеннем воздухе была уже холодная, предвечерняя ясность; резкие синие тени деревец тянулись по солнечному газону – все в одну сторону, как будто им хотелось посмотреть, кто первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охваченной понизу тысячелапым ползучим растением. Далеко, за улицей, очень отчетливы были фисташковые фасады супротивных домов, и там, облокотясь на красную перину, положенную на подоконник, сидел лысый человечек в жилете. Садовник уже дважды брался за тачку, но всякий раз обращался опять к шоферу. Потом они оба закурили, и легкий дымок ясно проплыл по черному фону автомобиля. Тени как будто чуть подвинулись дальше, но солнце еще полновесно сияло справа, из-за угла графской виллы, где сад был выше и газон

пожелтее. Откуда-то появился Том, лениво прошел вдоль клумб; по долгу службы, без малейшей надежды на успех, кинулся за низко порхнувшим воробьем и, опустив морду на лапы, лег подле тачки. Хорошо, прохладно, просторно было на террасе. Забавным лучом паутинка косо шла от крайнего цветка на перилах к столу, стоявшему рядом. Облачки в бледном чистом небе были какие-то завитые, и все одинаковые, и держались легкой стаей все на одном месте. Садовник наконец все выслушал, все досказал и двинулся вдоль газона со своей тачкой, и Том, лениво встав, пошел сзади, как заводная игрушка, и повернул, когда повернул садовник. Книга, уже давно скользившая по колену, съехала вниз на пол, и лень было ее поднимать. Хорошо, просторно, прохладно… Первой придет, вероятно, длинная тень вон той молодой яблони. Шофер сел на свое место… Интересно, о чем он сейчас думает… Утром у него были такие веселенькие глаза… Уж не пьет ли? Вот была бы умора… Прошли два господина в цилиндрах; цилиндры, как пробки на воде, проплыли над оградой. Совершенно непонятно, почему они в цилиндрах. И потом, откуда ни возьмись, скользнул над террасой вялый облетевший адмирал, опустился на край столика, раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал, как будто задышал. Малиновые полоски вылиняли, бахрома изорвалась, но он был еще так нежен, так наряден…

Глава III

В понедельник Франц размахнулся: он купил американские очки; оправа была черепаховая, – с той оговоркой, конечно, что черепаха тем и известна, что ее отлично и разнообразно подделывают. Как только вставлены были нужные стекла, он эти очки надел. На сердце, как и за ушами, стало уютно и покойно. Туман рассеялся. Свободные краски мира вошли снова в свои отчетливые берега.

Еще одно нужно было сделать, чтобы окончательно восстановить свою полновесность, осесть, утвердиться в свежерасчерченном мире: нужно было найти себе верное пристанище. Он снисходительно улыбнулся, вспомнив вчерашнее обещание Драйера платить и за то, и за сё. Драйер – приятное, фантастическое и крайне полезное существо. И он совершенно прав: приодеться прямо необходимо. Сперва, однако, – комнату…

День был бессолнечный, но сухой. Трезвым холодком веяло с низкого, сплошь белого неба. Таксомоторы были оливково-черные с отчетливым шашечным

кантом по дверце. Там и сям синий почтовый ящик был заново покрашен – блестящий и липкий по-осеннему. Улицы в этом квартале были тихие, какими, собственно говоря, не полагалось быть улицам столицы. Он старался запомнить их названия, местонахождение аптеки, полиции. Ему не нравилось, что так много простора, муравчатых скверов, сосен и берез, строящихся домов, огородов, пустырей. Это слишком напоминало провинцию. В собаке, гулявшей с горничной, ему показалось, что он узнал Тома. Дети играли в мяч или хлестали по своим волчкам, прямо на мостовой: так и он играл когда-то, в родном городке. В общем, только одно говорило ему, что он действительно в столице: некоторые прохожие были чудесно, прямо чудесно одеты! Например: клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена, так что особенно тонкой казалась голень в шерстяном чулке; такого покроя, именно такого, он еще не видал. Затем был щеголь в двубортном пиджаке, очень широком в плечах и донельзя обтянутом на бедрах, и в штанах неимоверных, просторных, безобразных, скрывающих сапоги, – хоть воплощай в бродячем цирке передние ноги клоунского слона. И превосходные были шляпы, и галстуки как пламя, и какие-то голубиные гетры. Драйер добр.

Он шел медленно, болтая руками, поминутно оглядываясь: «Ах, какие дамочки, – почти вслух думал он и легонько стискивал зубы… – Какие икры, – с ума сойти!..»

В родном городке, гуляя по приторно-знакомым улицам, он, конечно, сто раз в день испытывал то же самое, – но тогда он не смел слишком засматриваться, – а тут дело другое: эти дамочки доступны, они привыкли к жадным взглядам, они рады им, можно, пожалуй, любую остановить, разговориться с ней… Он так и сделает, но только нужно сперва найти комнату. За сорок-пятьдесят марок, сказал Драйер. За пятьдесят, значит…

И Франц решил действовать систематически. У дверей каждого третьего, четвертого дома была вывешена дощечка: сдается, мол, комната. Он вытащил из кармана только что купленный план, проверил еще раз, далеко ли он находится от дома Драйера, и увидел, что – близко. Затем он выбрал издали одну такую дощечку и позвонил. Позвонив, он заметил, что на дощечке написано: «Осторожно, дверь только что покрашена». Но было уже поздно. Справа отворилось окно. Стриженая девушка, держась обнаженной по плечо рукой за раму, другой прижимая к груди черного котенка, внимательно посмотрела на Франца. Он почувствовал неожиданную сухость во рту: девушка была прелестная; простенькая совсем, но прелестная. А эти простые девушки в столице, если им хорошо заплатить… «Вам к кому нужно?» – спросила девушка.

Франц переглотнул, глупо улыбнулся и с совершенно неожиданной наглостью, от которой сам тотчас смутился, сказал: «Может быть, к вам, а?»

Она поглядела на него с любопытством.

«Полноте, полноте, – неловко проговорил Франц, – вы меня впустите».

Девушка отвернулась и сказала кому-то в комнате: «Я не знаю, чего он хочет. Ты его лучше сам спроси». Над ее плечом выглянула голова пожилого мужчины с трубкой в зубах. Франц приподнял шляпу и, круто повернувшись, ушел. Он заметил, что продолжает болезненно улыбаться, а кроме того, тихо мычит. «Пустяк, – подумал он злобно. – Ничего не было. Забыто. Итак, нужно найти комнату».

Осмотрел он за два часа одиннадцать комнат, на трех улицах. Строго говоря, любая из них была прекрасна, но у каждой был крохотный недостаток. В одной, например, было еще не убрано, и, посмотрев в глаза заплаканной женщине в трауре, которая с каким-то вялым отчаянием отвечала на его вопросы, он решил почему-то, что тут, в этой комнате, только что умер ее муж, – и, решив так, не мог уже справиться с образом, который его фантазия поспешила отвратительно развить. В другой комнате недочет был попроще: она стоила на пять марок больше цены, положенной Драйером; зато была очаровательна. В третьей стоял у постели столик, который вдруг напомнил ему точь-в-точь такой же столик, бывший главным действующим лицом на неприятнейшем спиритическом сеансе. В четвертой пахло уборной. В пятой… Но Франц сам вскоре стал путать в памяти эти комнаты и их недостатки – и только одна осталась какой-то нетронутой и ясной – та, за пятьдесят пять марок, на тихой улице, кончавшейся тупиком. Он вдруг почувствовал, что искать дольше незачем, что он все равно сам не решится, боясь сделать дурной выбор и лишить себя миллиона других комнат; а вместе с тем, – трудно себе представить что-нибудь лучше той, дороговатой, с портретом голой женщины на стене.

«Итак, – подумал он, – теперь без четверти час. Я пойду обедать. Блестящая мысль: я пойду обедать к Драйеру. Я спрошу у него, на что, собственно, мне обращать сугубое внимание при выборе и не думает ли он, что пять лишних марок —»

Остроумно пользуясь картой (и заодно пообещав себе, что, как только освободится от дел, махнет вон туда, так, потом так, потом так, – по подземной железной дороге, – туда, где улицы, должно быть, пошумнее и понаряднее), Франц без труда добрел до особнячка. Этот зернисто-серый особнячок был на вид удивительно какой-то плотный, ладный, даже, скажем, аппетитный. В саду на молодых деревцах гроздились тяжелые яблоки. Проходя по хрустящей тропе, Франц увидел Марту, стоявшую на ступеньке крыльца. Она была в шляпе, в кротовом пальто, в руке держала зонтик и, проверяя сомнительную белизну неба, соображала, раскрыть ли зонтик или нет. Заметив Франца, она не улыбнулась, и он, здороваясь с ней, почувствовал, что попал некстати.

«Мужа нет дома, – сказала она, уставившись на Франца своими чудесными, холодными глазами. – Он сегодня обедает в городе».

Франц взглянул на ее сумку, торчавшую углом из-под мышки, на лиловатый цветок, приколотый к огромному воротнику пальто, на короткий тупой зонтик с красным набалдашником, – и понял, что и она тоже уходит.

«Простите, что побеспокоил», – сказал он, сдерживая досаду. «Ах, пожалуйста…» – сказала Марта. Они оба двинулись по направлению к калитке. Франц не знал, что ему делать: проститься ли сейчас или продолжать идти с нею рядом. Марта с недовольным выражением в глазах глядела прямо перед собой, полураскрыв крупные теплые губы. Потом она быстро облизнулась и сказала: «Так неприятно: я должна идти пешком. Дело в том, что мы вчера наш автомобиль разбили».

Случай действительно произошел неприятный: пытаясь объехать грузовик, шофер сперва наскочил на деревянную ограду – там, где чинили трамвайные рельсы, – затем, резко вильнув, стукнулся о бок грузовика, повернулся на месте и с треском въехал в столб. Пока продолжался этот припадок автомобильного бешенства, Марта и Драйер принимали всевозможные положения и в конце концов оказались на полу. Драйер сочувственно спросил, не ушиблась ли она. Встряска, толпа зевак, разбитый автомобиль, грубый шофер грузовика, полицейский, с которым Драйер говорил так, как будто случилось что-то очень смешное, – все это привело Марту в состояние такого раздражения, что потом, в таксомоторе, она сидела как каменная.

«Мы сломали какой-то барьер и столб», – хмуро сказала она и, медленно протянув руку, помогла Францу отворить калитку, которую он сердито теребил.

«Опасная все-таки вещь – автомобиль», – проговорил Франц неопределенно. Теперь уже пора было откланяться.

Марта заметила и одобрила его нерешительность.

«Вам в какую сторону?» – спросила она, переместив зонтик из правой руки в левую. Очень подходящие он купил очки… Смышленый мальчик…

«Я сам не знаю, – сказал Франц и грубовато ухмыльнулся. – Собственно говоря, я как раз пришел посоветоваться с дядей насчет комнаты». – Это первое «дядя» вышло у него неубедительно, и он решил не повторять его некоторое время, чтобы дать слову созреть.

Марта рассмеялась, плотоядно обнажив зубы.

«Я тоже могу помочь, – сказала она. – Объясните, в чем дело?»

Они незаметно двинулись и теперь медленно шли по широкой панели, на которой там и сям, как старые кожаные перчатки, лежали сухие листья. Франц оживился, высморкался и стал рассказывать о комнатах.

«Это неслыханно, – прервала Марта, – неужели пятьдесят пять? Я уверена, что можно поторговаться».

Франц про себя подумал, что дело в шляпе, но решил не спешить.

«Там хозяин – эдакий тугой старикашка. Сам чорт его не проймет…»

«Знаете что? – вдруг сказала Марта. – Я бы не прочь пойти туда, поговорить».

Франц от удовольствия зажмурился. Везло. Необыкновенно везло. Не говоря уже, что весьма хорошо получается – гулять по улицам с этой красногубой дамой в кротовом пальто. Резкий осенний воздух, лоснящаяся мостовая, шипение шин, вот она – настоящая жизнь. Только бы еще новый костюм, пылающий галстук, – и тогда полное счастье. Он подумал, что бы такое сказать приятное, почтительное…

«Я все еще не могу забыть, как это мы странно встретились в поезде. Невероятно!» – «Случайность, – сказала Марта, думая о своем. – Вот что, – вдруг заговорила она, когда они стали подниматься по крутой лестнице на пятый этаж. – Мне не хочется, чтобы муж знал, что я вам помогла… Нет, тут никакой загадки нет; мне просто не хочется, – вот и все».

Франц поклонился. Его дело – сторона. Однако он спросил себя, лестно ли то, что она сказала, или обидно? Решить трудно.

На звонок долго никто не приходил. Франц вслушался – не слышно ли приближающихся шагов. Все было тихо. Оттого особенно неожиданным показалось, когда дверь отпахнулась. Старичок в сером, с бритым, мятым лицом и густыми, закрученными бровями, молча впустил их.

«Я к вам опять, – сказал Франц, – я хотел бы еще раз посмотреть комнату».

Старичок в знак согласия приложил руку к груди и быстро, совершенно беззвучно, пошел вперед по длинному, темноватому коридору.

«Бог знает какие дебри», – брезгливо подумала Марта, и ей опять почудилась озорная улыбка мужа: меня журила, а сама помогаешь, меня журила, а сама —

Впрочем, комната оказалась светленькой, довольно чистой: у левой стены деревянная, должно быть скрипучая, кровать, рукомойник, печка; справа – два стула, соломенное кресло с потугами на грацию; небольшой стол посредине; комод в углу; на одной стене зеркало с флюсом, на другой портрет женщины в одних чулках.

Франц с надеждой посмотрел на Марту. Она указала зонтиком на правую пустоватую стену и каким-то деревянным голосом спросила, не глядя на старичка:

«Почему вы убрали кушетку, тут, очевидно, что-то раньше стояло».

«Кушетку просидели, она в починке», – глухо сказал старичок и склонил голову набок.

«Вы ее потом поставите», – заметила Марта и, подняв глаза, включила на миг электричество. Старичок тоже поднял глаза.

«Так, – сказала Марта и опять протянула зонтик: – Постельное белье есть?»

«Постельное белье? – удивленно переспросил старичок; потом, склонив голову на другой бок, поджал губы и, подумав, ответил: – Да, белье найдется».

«А как насчет услуг, уборки?»

Старичок ткнул себя пальцем в грудь.

«Все – я, – сказал он. – Все – я. Только – я».

Марта подошла к окну, посмотрела на улицу, потом прошлась обратно.

«Сколько же вы хотите?» – спросила она равнодушно.

«Пятьдесят пять», – бодро ответил старичок.

«Это как – с электричеством, с утренним кофе?»

«Господин служит?» – поинтересовался старичок, кивнув в сторону Франца.

«Да», – поспешно сказал Франц.

«Пятьдесят пять за все», – сказал старичок.

«Это дорого», – сказала Марта.

«Это недорого», – сказал старичок.

«Это чрезвычайно дорого», – сказала Марта.

Старичок улыбнулся.

«Ну что ж», – вздохнула Марта и повернулась к двери.

Франц почувствовал, что комната вот-вот сейчас навсегда уплывет. Он помял шляпу, стараясь поймать взгляд Марты.

«Пятьдесят пять», – задумчиво повторил старичок.

«Пятьдесят», – сказала Марта.

Старичок открыл рот и снова плотно закрыл его.

«Хорошо, – сказал он наконец, – но только, чтобы тушить не позже одиннадцати».

«Конечно, – вмешался Франц, – конечно… Я это вполне понимаю…»

«Вы когда хотите въехать?» – спросил старичок.

«Сегодня, сейчас, – сказал Франц. – Вот только привезу чемодан из гостиницы».

«Маленький задаток?» – предложил старичок с тонкой улыбочкой.

Улыбалась как будто и вся комната. Она была уже не чужая. Когда Франц опять вышел на улицу, у него в сознании осталась от нее неостывшая впадина, которую она выдавила в ворохе мелких впечатлений. Марта, прощаясь с ним на углу, увидела благодарный блеск за его круглыми стеклами. И потом, направляясь в фотографический магазин отдать дюжины две еще не прозревших тирольских снимков, она с законным торжеством вспоминала разговор.

Заморосило. Ловя влажность, широко распахнулись двери цветочных магазинов. Морось перешла в сильный дождь. Марте стало смутно и беспокойно – оттого что нельзя было найти таксомотор, оттого что капли норовили попасть под зонтик, смывая пудру с носа, оттого что и вчерашний день, и сегодняшний были какие-то новые, нелепые, и в них смутно проступали еще непонятные, но значительные очертания. И как будто тот темноватый раствор, в котором будут плавать и проясняться горы Тироля, – этот дождь, эта тонкая дождевая сырость

проявляла в ее душе лоснистые образы. Снова промокший, веселый, синеглазый господин, случайнейший знакомый мужа, под таким же дождем торопливо говорил ей о волнении, о бессонницах, и прошагал мимо, и исчез за углом памяти. Снова в ее бидермайеровской гостиной тот дурак художник, томный хлыщ с грязными ногтями, присосался к ее голой шее, и она не сразу оторвала его. И снова, – и этот образ был недавний, – иностранный делец с замечательной синеватой сединой вдоль пробора шептал, играя ее рукой, что она, конечно, придет к нему в номер, и она улыбалась и смутно жалела, что он иностранец. Вместе с ними, с этими людьми, быстро-быстро холодноватыми ладонями прикасавшимися к ней, она пришла домой, дернула плечом и легко отбросила их, как отбросила в угол раскрытый мокрый зонтик.

«Я – дура, – сказала она, – в чем дело? О чем мне тревожиться? Это случится рано или поздно. Иначе не может быть…»

Все стало как-то сразу легко, ясно, отчетливо. Она с удовольствием выругала Фриду за то, что пес наследил на ковре; она съела кучу мелких сандвичей за чаем; она деловито позвонила в кассу кинематографа, чтобы оставили ей два билета на премьеру, в пятницу, и решила пойти со старухой Грюн, когда оказалось, что Драйер в тот вечер занят. А Драйер действительно был очень занят. Он так увлекся неожиданным предложением одной чужой фирмы, шелковистыми переговорами с ней, и телефонными перестрелками, и дипломатической плавностью важных совещаний, что в продолжение нескольких дней не вспоминал о Франце. Вернее, вспоминал о нем – да не вовремя, – когда млел золотистым призраком, по шею в теплой ванне, когда мчался из конторы на фабрику, когда курил в постели папиросу, раньше чем потушить свет; Франц мелькал, Драйер мысленно ему обещал, что им займется немного погодя, и тотчас начинал думать о другом.

И Францу от этого было не легче. Когда первое приятное волнение новоселья прошло, – а прошло оно скоро, – Франц спросил себя, что же делать дальше? Марта записала номер его телефона и при этом холодно сказала: «Я передам, что вы заходили, оставили телефон». Однако никто к нему не звонил. Сам позвонить он не смел. Пойти прямо так к Драйеру он теперь тоже боялся, не доверяя случаю, который в последний раз так великолепно преобразил его неудачный визит. Надо было ждать. Очевидно, в конце концов Драйер вызовет его, но ждать было неприятно. Дело в том, что в первое же утро хозяин собственноручно принес ему в половине восьмого утра чашку слабого кофе с двумя кусочками сахара на блюдце и наставительно заметил:

«Не опоздайте на службу. Смотрите, не опоздайте». – После чего старичок почему-то подмигнул.

Франц решил, что ему ничего другого не остается делать, как уйти из дому на весь день, словно он действительно до семи на службе.

Он принужден был, таким образом, поневоле осматривать столицу – вернее, самую, как ему казалось, «столичную» ее часть. Принудительность этих прогулок отравляла новизну. К вечеру он так уставал, что все равно не мог выполнить свой давнишний роскошнейший план – поблуждать по ночным огнистым улицам, присмотреться к волшебным ночным дамам. В первый же день, далеко забредя, он попал на широкую скучную улицу, где было много пароходных контор и магазинов картин, – и, взглянув на столб с надписью, увидел, что находится на том проспекте, который некогда так пышно снился ему. Осыпались жидковатые липы. Арка в конце была сплошь заставлена лесами; а в другом конце был странный простор, – и, проходя вдоль канала, где в одном месте масло радугой стояло на воде и дурманно пахло медом от барж, с которых люди в розовых рубашках выгружали горы груш и яблок, он увидел с моста двух женщин в блестящих купальных шлемах, которые, сосредоточенно отфыркиваясь и равномерно разводя руками, плыли рядом по самой средине водной полосы. В музее древностей он провел два часа, с ужасом разглядывая пестрые саркофаги и портреты носастых египетских младенцев. Он подолгу отдыхал в шоферских трактирах и на удобнейших скамьях в необъятном парке. Он спускался в прохладные недра подземной железной дороги – и, сидя на красном кожаном сиденье, глядя на блестящие штанги, по которым взбегала словно золотая ртуть, ждал с нетерпением, чтобы оборвалась поскорей угольная чернота, грохотавшая вдоль окон. Ему чрезвычайно хотелось найти тот огромный магазин Драйера, о котором с таким почтением говорили в его родном городке. Но в толстом телефонном фолианте были только указаны дом и контора. Магазин, очевидно, назывался как-то иначе. И не зная, что столица передвинулась на запад, Франц бродил по центральным и северным улицам, где, по его мнению, должны были быть наряднейшие магазины, оживленнейшая торговля, и, замирая у витрин конфекционеров[11 - Здесь: продавцы готового платья.], все гадал, не это ли магазин, где он будет служить.

Его мучило, что он ничего не смеет купить. За это короткое время он успел уже потратить уйму денег, – а тут Драйер исчез, ничего как-то не известно, на душе смутно. Он попробовал подружиться со старичком-хозяином, так настойчиво выгонявшим его на целый день из дому, – но тот оказался неразговорчивым – все

таился в неведомой глубине квартирки. Впрочем, в первый вечер встретив Франца в коридоре, он долго объяснял ему тайны районного участка, дал ему какие-то бланки, куда Франц должен был вписать свою фамилию, холост ли, или женат, и где родился. «Кстати, я хочу вас предупредить, – сказал старичок. – Насчет вашей подруги… Она не должна вас посещать здесь. Я понимаю – вы молоды, я сам был молод, я бы, пожалуй, смотрел на это сквозь пальцы, с удовольствием… Но моя супруга, – она сейчас временно в отъезде, – моя супруга не разрешает таких посещений».

Франц, побагровев, закивал. То, что хозяин принял Марту за его возлюбленную, и поразило его, и польстило ему чрезвычайно. При этом он с легким волнением почувствовал, что теперь Марта и дама в вагоне слились в один образ. Он представил себе ее запах, ее теплые на вид губы, нежные поперечные бороздки на горле; но сразу остановил в себе привычный наплыв вожделения – «Она совершенно недоступна, – подумал он спокойно. – Недоступна и холодна. Она живет в другом мире с богатейшим, еще сочным мужем. Воображаю, как погнала бы в три шеи, если б я стал предприимчив. И сразу – разбитая карьера…». С другой же стороны, он подумал, что какую-нибудь подругу он все-таки непременно заведет – тоже крупную и темноволосую, – и в предвидении этого решил принять некоторые меры. Утром, когда старичок принес ему кофе, Франц кашлянул и сказал:

«Послушайте, – а если б я вам немножко приплатил, вы бы… я бы… ну, словом, – можно было бы мне принимать кого хочу?»

«Это еще вопрос», – сказал старичок.

«Несколько лишних марок», – сказал Франц.

«Я понимаю», – сказал старичок.

«Еще пять марок в месяц», – сказал Франц.

«Ладно, – кивнул старичок – и тут-то добавил наставительно и лукаво: – Смотрите, не опоздайте на службу».

Так сразу пропал даром весь труд Марты, не стоило ей так торговаться. Но Франц, решив приплачивать тайно, из собственных денег, отлично почувствовал,

что поступил опрометчиво. Деньги таяли, а Драйер все не звонил. В продолжение четырех дней он с отвращением, ровно в восемь, уходил из дому и в тумане усталости возвращался после семи. Пресловутый проспект и улицы, его пересекавшие, вконец ему опротивели. Матери он послал открытку с видом этого проспекта, написал, что здоров, что Драйер добрейший человек: незачем было пугать старушку. И только в пятницу вечером, часов в одиннадцать, когда Франц уже лежал в постели и говорил себе в паническом трепете, что все его забыли, что он совершенно один в чужом городе, – и с каким-то злорадством думал: «Нет, дудки! Завтра скажусь больным, проваляюсь весь день, а вечерком махну в какие-нибудь злачные места», – в это мгновение постучался старичок и сонным голосом позвал его к телефону.

Франц, страшно спеша и волнуясь, натянул на ночную рубашку штаны, кинулся босиком в коридор, зацепился болтавшимися подтяжками о ручку двери, рванулся, резина больно хлопнула по уху, – замелькали темные стены коридора, какой-то сундук успел мимолетом хватить его по колену, и наконец райским блеском заиграло на стене телефонное сооружение. Оттого ли, что Франц к телефонам не привык, оттого ли, что он так был взволнован, так запыхался, – но сначала никак ему не удавалось разобрать голос, лающий ему в ухо. «Сию минуту приходи ко мне на дом, – наконец ясно сказал голос. – Слышишь? Пожалуйста, поторопись. Я тебя жду…» – «Ах, здравствуйте, здравствуйте…» – залепетал Франц, но телефон уже был пуст. С размаху повесив трубку, Драйер опять облокотился на стол и продолжал торопливо вписывать в большую карманную книжку все, что ему нужно завтра сделать. Потом он взглянул на часы, соображая, что сейчас жена должна вернуться из кинематографа. Проворной ладонью он потер себе лоб и, хитро улыбнувшись, достал из ящика связку ключей и трубовидный электрический фонарик с выпуклым глазом. Был он еще в пальто – только что приехал домой – и прямо так, в пальто, прошагал в кабинет, как он всегда это делал, когда спешил что-нибудь записать, куда-нибудь позвонить. Теперь он шумно отодвинул стул и, снимая на ходу мохнатое, широкое, желтое свое пальто, прошел в переднюю, где его и повесил. Затем опустил в огромный карман уже успокоившегося пальто ключи и фонарик. Том, лежавший у двери, встал, потерся нежной головой о его ногу и улегся опять. Драйер звонко заперся в уборной, где на беленой стене дремали маленькие, состарившиеся комары, и через минуту, уже домашней, неторопливой походкой, прошел обратно в кабинет, а оттуда в столовую.

Там стол был накрыт, алела вестфальская ветчина на блюде среди мозаики ливерной колбасы. Крупный виноград, словно налитой светом, свешивался с края вазы. Драйер оторвал ягоду, бросил ее себе в рот, покосился на ветчину, но

решил подождать Марту. В зеркале отражалась его широкая, светло-серая спина, теневые перехваты на сгибе рукава, желтые пряди приглаженных волос. Он быстро обернулся, будто почувствовал, что кто-то смотрит на него, отодвинулся, и в зеркале остался только ярко-белый угол накрытого стола на черном фоне, где темновато-драгоценно поблескивал хрусталь на буфете. Вдруг по той стороне тишины раздался легчайший звук: кто-то искал в тишине чувствительную точку; нашел; пронзил ее ударом ключа, отчетливо повернул – и все оживилось: в зеркале раза два прошло серое плечо Драйера, жадно зашагавшего вокруг ветчины; стукнула дверь, вошла Марта, блестя глазами и крепко вытирая нос душистым платком; за ней вошла, мягко выкидывая лапы, совсем проснувшаяся собака.

«Садись, садись, моя душа», – бодро воскликнул Драйер и включил хитрый электрический ток, согревающий воду для чая. Марта улыбалась. Вообще последнее время она улыбалась довольно часто, чему Драйер был несказанно рад. Она находилась в приятном положении человека, которому в близком будущем обещано удовольствие. Она готова была ждать некоторый срок, зная, что удовольствие придет непременно. Нынче она вызвала маляров, чтобы освежить фасад дома. После кинематографа она разомлела, проголодалась и с наслаждением думала, что вот сейчас, сейчас, утолив грубоватый вечерний голод, завалится спать.

С парадной донесся взволнованный звонок. Том резво залаял. Марта удивленно подняла брови. Драйер с таинственным смешком встал и, жуя на ходу, пошел открывать.

Она сидела, полуобернувшись к двери, держа на весу чашку. Когда Франц, шутливо подталкиваемый Драйером, боком вошел в столовую, резко остановился, щелкнул каблуками и быстро к ней подошел, она так прекрасно улыбнулась, так жарко блеснули ее губы, что в душе у Драйера какая-то огромная веселая толпа оглушительно зарукоплескала, и он подумал, что уж после такой улыбки все будет хорошо: Марта, как некогда, будет захлебываясь рассказывать о кинематографе, о новом удивительном платье, – и в воскресенье, вместо тенниса (какой там теннис в дождь!), он с нею поедет кататься верхом в шуршащем, солнечном, оранжевом парке.

«Прежде всего, мой дорогой Франц, – сказал он, пододвинув стул, – закуси. И вот тебе рюмка коньяку».

Франц, как автомат, выбросил через стол руку, нацелясь на протянутую рюмку, сшиб вазочку с тяжелой, коричневатой розой («которую давно следовало убрать», – подумала Марта), и цвёлая вода отвратительным узором растеклась по скатерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Одно из самых значительных дополнений (в начале гл. XII, где с эффектом стеганографии появляется иностранная чета) мы приводим в нашем переводе в приложении к настоящему изданию. (Здесь и далее – прим. ред.)

2

Перевод ГА. Барабтарло и Веры Набоковой.

3

Редактор благодарит Вадима Алексеевича Маневича (Нью-Йорк), любезно предоставившего для сверки текстов копию издания романа 1979 г.

4

Владетельный германский князь, пользовавшийся правом выбора императора.

5

Точнее помпельмус – род цитруса с крупными плодами.

6

В настоящем издании сохраняются некоторые черты набоковского правописания, особенности его пунктуации и транслитерации (написание слов шкап, чорт, свэтер, кашнэ, пенснэ и др., а также имен собственных, например, Тоффана, Лэстер).

7

Чистилище.

8

Унтер-ден-Линден (нем. Unter den Linden – под липами) – один из наиболее известных бульваров Берлина.

9

Чрезмерная фамильярность (от фр. ami – друг и cochon – свинья).

10

Пирожок из слоеного теста, подаваемый к бульонам.

11

Здесь: продавцы готового платья.

Купить: https://tellnovel.com/vladimir-nabokov/korol-dama-valet

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити